

Введение

Эта книга выросла из интеллектуального отступления, которое стало таким захватывающим, что я решил вообще отказаться от моего первоначального маршрута. Совершив, казалось, необдуманный поворот, я увидел удивительный новый пейзаж и почувствовал, что направляюсь именно туда, куда надо, — это убедило меня изменить планы. Новый маршрут, я полагаю, имеет свою собственную логику. Он мог бы оказаться еще более изящным, если бы я додумался до этого с самого начала. Совершенно ясно, однако, что обходной путь, пусть и по более ухабистым и окольным дорогам, чем я рассчитывал, привел к более существенному результату. Читатель, разумеется, мог бы найти более опытного проводника, но маршрут этот так далек от протоптанных троп, что, если вы отправляетесь именно туда, вам придется согласиться на того следопыта, которого удалось найти.

Несколько слов относительно пути, по которому я не пошел. Сначала я собирался выяснить, почему государство всегда оказывалось врагом, грубо говоря, «бродяг». В контексте Юго-Восточной Азии это обещало плодотворные возможности объяснения извечно напряженных отношений между кочевыми народами гор, использующими подсечно-огневую систему земледелия, с одной стороны, и производителями риса-сырца, жителями долин, с другой. Вопрос, однако, вышел за рамки региональной географии. Кочевники и скотоводы (вроде берберов и бедуинов), охотники-собиратели, цыгане, бродяги, бездомные, странники, беглые рабы и крепостные всегда были занозой в теле государств. Государственные проекты по переходу этих кочевых народов к устойчивой оседлости, превращались в постоянно действующие, в частности, потому, что их редко удавалось реализовать.

Чем больше проектов по закреплению оседлости я исследовал, тем больше видел в них попытку государства сделать общество более понятным, организовать население так, чтобы упростить государству исполнение его классических функций — сбора налогов, обеспечение воинской повинности и предотвращение волнений. Начав двигаться в этих понятиях, я увидел в «прозрачности» общества для взгляда государства центральную проблему государственного управления. В эпоху премодерна государство было во многих важных отношениях слепым: оно совсем мало знало о своих подданных — об их благосостоянии, землях и урожаях, местонахождении, да даже и о том, кто они вообще такие. Государство нуждалось в чем-нибудь вроде детальной «карты» своих земель и людей. А главное, не доставало меры — метрики, которая позволила бы ему «переводить» то, что оно знало, в некий общий стандарт, необходимый для обозрения. Поэтому вмешательства государства в жизнь подданных были часто непродуманными и губительными.

Тут-то и началось отступление от первоначально выбранного пути. Каким образом государство постепенно приобрело власть над своими подданными и средой их обитания? Внезапно такие разные процессы, как создание постоянных фамилий; стандартизация мер и весов, учреждение земельного кадастра и перепись населения, изобретение права

собственности на землю, стандартизация языка и правовых норм, проектирование городов и организация транспорта, становились понятными как стремление к простоте и ясности. В каждом случае чиновники имели дело с исключительно сложными и невнятными местными социальными практиками — с обычаями землевладения или способами наименования — и создавали стандартную схему, посредством которой можно было бы централизованно регистрировать и прослеживать их действие.

Организация природного мира не составила исключения. В конце концов, сельское хозяйство есть радикальная реорганизация и упрощение флоры ради достижения целей человека. Каковы бы ни были другие цели проектов научного лесоводства и сельского хозяйства, проектов размещения и устройства плантаций, колхозов, деревень уджамаа и стратегических поселений, все они казались направленными на то, чтобы сделать территорию, производство и рабочую силу более доступной обзору, а следовательно, и управлению сверху и из центра.

Здесь может оказаться полезной аналогия с пчеловодством. Во времена премодерна сбор меда был трудным делом. Собираение меда обычно было связано с выселением пчел, и даже если их размещали в соломенных ульях, часто пчелиная семья при этом гибла. Устройство помещений для расплода и ячеек меда было сложным, менялось от улья к улью, что не учитывалось во время извлечения меда. Современный улей решает эти проблемы пчеловода. С помощью так называемой «маточной разделительной решетки» помещения для расплода отделяются от запасов меда, не позволяя матке откладывать больше определенного количества яиц. Кроме того, восковые ячейки аккуратно расположены в вертикальных рамках, по девять-десять в коробке, что позволяет легко извлекать мед, воск и прополис. Выемка стала возможной благодаря соблюдению «пчелиного пространства» — точно рассчитанного зазора между рамками, который пчелы оставляют свободным для прохода, не соединяя рамки между собой сотами. С точки зрения пчеловода, современный улей, упорядоченный и «доступный наблюдению», позволяет следить за состоянием семьи и матки, судить о ее продуктивности (по весу), изменять размер улья на стандартные единицы, перемещать его на новое место, а, главное, не извлекать чрезмерное количество меда (в умеренном климате), чтобы обеспечить успешную зимовку пчелиной семьи.

Не хотелось бы распространять эту аналогию дальше, чем следует, но многое из эпохи раннего модерна в европейском искусстве управления государством кажется мне очень похожим: рационализация и стандартизация, перевод сложного и причудливого социального иероглифа в наглядный и административно более удобный формат. Введенные таким образом социальные упрощения не только позволяли более точно наладить сбор налогов и исполнение воинской повинности, но и вообще значительно расширили возможности государства. Они сделали возможными вмешательства государства в жизнь граждан с самыми разными целями, такими, как санитарные мероприятия, политический надзор или помощь бедным.

Эти государственные упрощения, основная данность в управлении государством с начала Нового времени, были, как я начал понимать, довольно похожи на упрощенные планы местности. Они представляли не истинную деятельность общества, которое изображали (не для этого были предназначены), а только тот срез ее, который интересовал официального

наблюдателя. И это были не просто карты: соединенные с государственной властью, они позволяли многое переделать в той действительности, которую изображали. Так, государственный земельный кадастр, созданный для определения подлежащих налогообложению земельных собственников, не просто описывает систему землевладения, а создает такую систему благодаря способности придавать своим категориям силу закона. В гл. 1 я пытаюсь показать, насколько всеобъемлюще общество и окружающая среда были переделаны наглядными государственными картами.

Этот взгляд на управление государством эпохи раннего модерна не особенно оригинален, но, соответственно измененный, он позволяет рассмотреть множество примеров колоссальных неудач в развитии беднейших стран третьего мира и Восточной Европы.

Неудача — слишком легковесное слово для бедствий, которые я имею в виду. «Большой скачок» в Китае, коллективизация в России и принудительное собирание людей в деревни в Танзании, Мозамбике и Эфиопии занимают свое место среди великих человеческих трагедий XX в. по числу утраченных и непоправимо разрушенных жизней. На менее драматичном, но гораздо более привычном уровне история развития третьего мира погребена под завалами грандиозных сельскохозяйственных и градостроительных проектов (таких, как Бразилиа или Чандигарх), в которых пострадавшей стороной оказались их жители.

Не так уж трудно, увы, понять, почему так много человеческих жизней было разрушено столкновениями между этническими группами, религиозными сектами или языковыми общинами. Труднее уяснить, почему так много хорошо задуманных систем улучшения условий человеческого существования развивалось столь трагически неудачно. На последующих страницах я намерен дать убедительный логический анализ причин, лежащих в основе краха некоторых великих утопических социальных проектов XX в.

Я собираюсь доказать, что наиболее трагические примеры социальных проектов государства осуществляются в губительном сочетании четырех элементов, необходимых для полноты развертывания бедствия. Первый из них — административное рвение, стремящееся привести в порядок природу и общество, — описанные государственные упрощения. Сами по себе они лишь ничем не примечательные инструменты современного управления государством, столь же необходимые для обслуживания нашего благосостояния и свободы, как и для проектов потенциального современного диктатора. Они поддерживают концепцию гражданства и условия социального благосостояния, но могли бы поддерживать и политику заключения нежелательных меньшинств в концлагеря.

Второй элемент — это то, что я называю идеологией высокого модернизма. Это наиболее мощная, можно даже сказать, чрезмерно мускулистая версия веры в научно-технический прогресс, расширение производства, возрастающее удовлетворение человеческих потребностей, господство над природой (включая и человеческую) и, главное, в рациональность проекта социального порядка, выведенного из научного понимания естественных законов. Конечно, она сложилась на Западе как побочный продукт беспрецедентного прогресса науки и промышленности.

Высокий модернизм не нужно путать с научной практикой. Это существенно, поскольку термин «идеология» подразумевает веру, которая занимает место учета закономерностей науки и техники, как это и было в действительности. В результате вера была не критической, не скептической и, соответственно, ненаучно оптимистической относительно возможностей всеохватного планирования человеческого расселения и производства. Носители идеологии высокого модернизма были склонны видеть рациональный порядок в наглядных визуальных эстетических терминах. Для них эффективный, рационально организованный город, деревня или ферма был поселением, которое *выглядело* упорядоченным в геометрическом смысле. Носители идеологии высокого модернизма, планы которых терпели неудачу или им мешали, отступали в направлении того, что я называю миниатюризацией: к созданию легче управляемого микропорядка в образцовых городах, образцовых деревнях и образцовых фермах.

Высокий модернизм относился к «интересам» так же, как к вере. Его носители (даже если они — капиталистические предприниматели) совершали требуемые государством действия, чтобы реализовать его планы. В большинстве случаев это были крупные должностные лица и главы государств. Они отдавали предпочтение некоторым формам планирования и социальной организации (огромные дамбы, централизованная связь и транспорт, большие фабрики и фермы, города, выстроенные по упорядоченной схеме), потому что эти формы были удобны для них как носителей идеологии высокого модернизма, а также отвечали их политическим интересам как государственных чиновников. Имелось, мягко говоря, избирательное сродство между высоким модернизмом и интересами многих официальных лиц.

Подобно любой идеологии, высокий модернизм имел специфический временной и социальный контексты. Подвиги национальной экономической мобилизации воюющих сторон (особенно Германии) в мировой войне, мне кажется, иллюстрируют его высочайшие достижения. Это и неудивительно: наиболее плодородная социальная почва высокого модернизма и должна состоять из проектировщиков, инженеров, архитекторов, ученых и техников, чьи навыки и положение используются для проектирования нового порядка. Вера в высокий модернизм не требовала никакого пересмотра традиционных политических границ; его представителей можно было найти в политическом секторе от левого крыла до правого, но особенно часто они попадались среди тех, кто хотел использовать государственную власть, чтобы вызвать огромные утопические изменения в народных привычках — привычках работы, образе жизни, моральном поведении и взгляде на мир. Само по себе это утопическое видение не было опасным — там, где оно одушевляло планы дальнейшей жизни в либеральных парламентских обществах, где планировщики должны были договариваться с организованными гражданами, оно могло подталкивать реформы.

Только когда к этим первым двум элементам присоединяется третий, сочетание становится смертельно опасным. Третий элемент — это авторитарное государство, которое желает и способно использовать всю свою власть, чтобы воплотить в жизнь упомянутые высокомодернистские проекты. Наиболее подходящее время для этого — войны, революции, депрессии и борьба за национальное освобождение. В таких ситуациях чрезвычайные обстоятельства способствуют узурпации чрезвычайных полномочий и часто делегитимизируют предыдущий режим. Для этих периодов характерно, что к власти

приходят такие элиты, которые отрекаются от прошлого и предлагают людям революционные проекты.

Четвертый элемент, тесно связанный с третьим, — обессиленное гражданское общество, неспособное сопротивляться этим планам. Война, революция и экономический крах резко ослабляют гражданское общество и повышают восприимчивость народных масс к идее передела собственности. Позднее колониальное правление с его социально-техническими стремлениями и способностью управлять популярной оппозицией с помощью грубой силы иногда оказывалось способным выполнить это последнее условие.

Подытоживая, скажем: просматриваемость общественной конструкции создает условия для крупномасштабной социальной перестройки, идеология высокого модернизма заставляет желать ее, авторитарное государство обеспечивает готовность действовать в соответствии с этим желанием, а выведенное из строя гражданское общество позволяет выровнять социальный ландшафт, чтобы на нем строить все заново.

Я еще не объяснил, почему высокомодернистский план, поддержанный авторитарной властью, на практике терпел неудачу. Объяснение неудачи — моя вторая цель.

Разработанный и спланированный социальный порядок схематичен — он всегда игнорирует существенные черты любой реальности, любого функционирующего социального порядка. Этот факт легче всего проиллюстрировать забастовкой того типа, которая называется «соблюдать правила»: она основана на том, что любой процесс производства зависит от неформальных методов и импровизаций, которые никогда не смогут быть кодифицированы. Просто скрупулезно придерживаясь правил, рабочие могут фактически остановить производство. Точно так же упрощенные правила воплощения планов, скажем, города, деревни или колхоза не годились в качестве набора инструкций для создания функционирующего социального порядка. Формальная схема паразитировала на неформальных процессах, создавать или поддерживать которые она сама не могла. Подавление этих неформальных процессов означало провал: терпели неудачу те, для счастья которых был задуман этот проект, а в конечном счете и сами проектировщики тоже.

Многое в этой книге можно счесть направленным против *империализма* того высокого модерниста, который запланировал определенный социальный порядок. Я подчеркиваю здесь слово «империализм», потому что не выступаю против всякого бюрократического планирования или вообще против идеологии высокого модернизма. Я выступаю против имперского или гегемонического менталитета планирования, который исключает необходимую роль местного знания и умения.

Везде в книге я подчеркиваю роль практического знания, неформальных процессов и импровизаций в живом непредсказуемом развитии. В главах 4 и 5 я противопоставляю высокомодернистские взгляды и методы, с одной стороны, городских проектировщиков и революционеров, а с другой — их критиков, подчеркивая сложность и неоконченность любых процессов. Типичными представителями высокого модернизма выбраны Ле Корбюзье и Ленин, а Джейн Джекобс и Роза Люксембург представляют их убедительных критиков. Главы 6 и 7, содержащие анализ советской коллективизации и танзанийской

принудительной виллажизации, показывают, что схематичное авторитарное решение о производстве и социальном порядке неизбежно терпит неудачу, когда оно игнорирует ценное знание, воплощенное в местных методах. (В ранней версии анализировался еще проект «Управление ресурсами долины Теннесси» — высокомодернистский эксперимент Соединенных Штатов, дедушка всех региональных проектов развития. Я вынужден был изъять этот материал, чтобы сократить эту все еще слишком длинную книгу.)

Наконец, в главе 9 я пытаюсь осмыслить природу практического знания и противопоставить его более формальному дедуктивному, эпистемическому знанию. Слово *метис*, восходящее к классической Греции и обозначающее знание, которое можно получить только из практического опыта, служит для пояснения того, что я имею в виду.

Здесь я должен также подтвердить свой долг авторам-анархистам (Кропоткин, Бакунин, Малатеста, Прудон), которые последовательно подчеркивали роль взаимности социального действия в создании социального порядка в противоположность обязательной иерархической координации. Их понимание термина «взаимность» покрывает некоторые, но не все смысловые оттенки, которые я хочу охватить понятием «метис».

Похоже, что радикально упрощенные проекты социальной организации подвержены риску неудачи не меньше, чем проекты радикального упрощения окружающей среды. Неэффективность и уязвимость монокультурных коммерческих лесов и генетически программируемой, механической монокультурности аналогичны неудачам коллективных хозяйств и спланированных городов. В связи с этим я здесь отстаиваю жизнеспособность социального и природного разнообразия и подробно показываю принципиальную ограниченность нашего знания о функционировании сложных систем. Эту аргументацию, вероятно, вполне можно было бы обратить и против упрощения социальной науки. Но я уже и так ухватил больше, чем смогу одолеть, так что этот путь вместе с моим благословением оставляю другим.

Я понимаю, что, пытаясь создать иную парадигму рассмотрения подобных вопросов, рискую проявить гордыню, в которой — и справедливо — обвиняют высоких модернистов. Изготовив линзы, изменяющие глубину твоего видения проблемы, испытываешь большое искушение посмотреть через те же самые очки и на все остальное. Однако два возможных обвинения хочу все же решительно отвести и полагаю, что внимательное чтение книги мне в этом поможет. Первое — обвинение в том, что я некритически восхищаюсь всем местным, традиционным и общепринятым. Я понимаю, что описываемое здесь практическое знание часто трудно отделить от практик доминирования, монополизации и отчуждения, задевающих чувства современных либералов. Я вовсе не утверждаю, что практическое знание есть продукт некоего мифического эгалитарного состояния природы. Я лишь полагаю, что формальные схемы порядка не работают без некоторых элементов практического знания, от которых они как раз и пытаются избавиться. Второе обвинение состоит в том, что вся моя аргументация — это анархистский протест против государства как такового. Как будет далее показано, государство — институт неоднозначный, лежащий в основе как наших свобод, так и наших несвобод. Я утверждаю, что некоторые типы государства, руководствующиеся утопическими планами и авторитарно игнорирующие ценности, желания и протесты своих граждан, представляют смертельную угрозу

человеческому благосостоянию. За пределами таких страшных, но уже ставших вполне обычными ситуаций нам остается лишь каждый раз тщательно взвешивать, насколько полезно в данном случае вмешательство государства и чего оно будет стоить.

Уже закончив книгу, я понял, что изложенная в ней критика определенных форм государственного правления с позиций восторжествовавшего после 1989 г. капитализма может показаться некой причудливой археологией. Государства с претензиями и властью, которые я критикую, либо вовсе исчезли, либо резко сократили свои амбиции. И все же, как будет показано на материале научно обоснованного фермерства, индустриального земледелия и капиталистических рынков вообще, крупномасштабный капитализм — точно такое же средство гомогенизации, усреднения, схематизации и решительного упрощения, как и государство, с той разницей, однако, что для капиталиста упрощения обязаны окупаться. Рынок с необходимостью сводит качество к количеству через механизм ценообразования и способствует стандартизации; на рынке говорят деньги, а не люди. Сегодня глобальный капитализм — возможно, наиболее мощная сила гомогенизации, даже если государство в некоторых случаях выступает в защиту местных особенностей и разнообразия. (В книге «В кильватере Просвещения» Джон Грей выдвигает аналогичные обвинения в адрес либерализма, ограниченность которого он видит в том, что либерализм основывается на культурном и институциональном капитале, который сам же стремится подорвать.) Вызванная широкомасштабными забастовками задержка структурных изменений во Франции, необходимых для принятия единой европейской валюты, — лишь соломинка в стоге сена. Проще говоря, мои претензии к государству определенного вида вовсе не означают, что я ратую за политически неангажированное рыночное регулирование, как это делают Фридрих Хайек и Милтон Фридман. Мы увидим, что выводы, которые можно сделать из неудач модернистских проектов социальной инженерии, применимы к стандартизации, диктуемой рынком, в той же мере, что и к бюрократической гомогенизации.

Версия #2

Зверобой создал 12 апреля 2025 18:07:21

Зверобой обновил 12 апреля 2025 18:11:23